

Интервью с З.П.Соколовой на тему “Основные методические проблемы и опыт полевого исследования”

Е.М.: Цель интервью – приблизиться к пониманию особенности “полевой” традиции в российской, в прошлом, советской этнографии. В отличие от западной антропологической науки у нас методике и проблематике полевого исследования как такового уделяется не много внимания, но огромный опыт российских полевых исследований, безусловно, заслуживают интереса. Внимание к российскому этнографическому “полю” сейчас объясняется, во-первых, особенностями ситуации трансформации, которую переживает в последнее десятилетие наша наука, и, во-вторых, важностью воспитания молодого поколения исследователей в духе преемственности нашей полевой традиции.

“Проблема поля” может включать в себя множество составляющих, среди них вопросы методики и этики полевого исследования, проблемы контакта и диалога культур, позиции этнографа в качестве посредника в таком контакте, наконец, проблемы перевода опыта полевого исследования в этнографический текст.

У Вас огромный опыт проведения полевых исследований. Скажите, пожалуйста, несколько слов о том, что такое полевое исследование и “проблема поля” для нашей науки?

З.П.: Наш термин – метод экспедиционных исследований. Раньше у нас было выражение: поехать не в поле, а в экспедицию. Организовывались экспедиционные отряды. Я, правда, чаще всего ездила не в составе отряда, а одна или вдвоем с кем-либо. Тем не менее, это были экспедиции, потому что мы уезжали на достаточный срок и все везли с собой. За плечами был рюкзак, в одной руке – сумка с вещами, не поместившимися в рюкзак, в другой – спальный мешок, через плечо – армейская полевая сумка с документами. Если предполагали заехать поработать в архиве, брали еще и чемодан с вещами и продукты. А жили нередко в палатках.

Этот новый термин “включенное наблюдение” пришел к нам с Запада и, разумеется, в связи с тем, что появилась возможность, во-первых, разнообразить исследовательские методы, а, во-вторых, заниматься теорией исследования.

Е.М.: Скажите, пожалуйста, несколько слов о том, где Вы учились? Преподавалась ли тогда какая-либо методика полевых исследований и в какой мере на Ваше становление в качестве полевого исследователя повлиял пример Ваших учителей?

З.П.: Моя позиция такова, что без полевых исследований не может быть этнографа. Для меня примером в этом плане всегда служили мои учителя. Я окончила Пермский университет, историко-филологический факультет, и по специализации была археологом. Археологи, как известно, постоянно работают в поле, поэтому к такой работе я была подготовлена. Среди моих учителей были О.Н. Бадер, В.Н. Чернецов, Б.О. Долгих, М.Г. Левин, Г.Ф. Дебец. Из ленинградцев большое влияние на меня оказали А.А. Попов, С.В. Иванов, Г.М. Василевич. Это старшее поколение было примером во всем. Они были многогранные исследователи. Если же говорить о полевой работе, то одно только наблюдение за их работой и прочтение их интерпретаций давало много для овладения методикой.

Что такое этнография? Описание народов. Как мы можем описать народ? Только изучив его историю и культуру. Как же можно проникнуть в культуру народа, не общаясь и не видя его жизни, тем более, чужого народа, поскольку мало кто занимается этнографией народа, к которому принадлежит?

Конечно, есть случаи, особенно среди наших "зарубежников", когда пишут и порой прекрасно пишут, не выезжая в поле. Но все же в прочитанной литературе им приходится выискивать те моменты, которые этнографы наблюдали сами.

Самая главная задача этнографа – понять чужую культуру во всех ее нюансах. Необходимо также сделать экскурс в историю народа, выявить общее и особенное в его культуре. Особенное же легче всего воспринять в поле.

Е.М.: На Западе существует определенный канон полевого исследования, в том числе времени, проведенного в поле. Есть формальное "оправдание" тому, что ученый находится в аборигенном сообществе год или два года: это дает ему возможность наблюдать образ жизни изучаемого сообщества в течение годичного жизненного цикла и т.п. У нас не выработались такие правила, зато существует большое

разнообразие в подходах к форме проведения полевой работы. Как Вы считаете, сколько времени этнограф должен проводить в поле? Какая вообще необходима подготовка к полевому исследованию?

З.П.: Я считаю, что минимальный срок полевого исследования – три недели. Первая уходит на ознакомление с людьми и культурой, вторая – на сбор материала, третья – на предварительное подведение итогов. Поездки бывают самые разные. Все зависит от программы и подготовки исследователя.

Я ездила в одни и те же места по два, а то и по три раза с промежутком в 10-15 лет. Это очень полезно, потому что позволяет видеть произошедшие изменения и делать теоретические выводы.

Важность наблюдения изменений можно проиллюстрировать на примере такого яркого явления как шаманизм. Сейчас наблюдается вспышка шаманизма, а еще пятнадцать лет назад считалось, что шаманизм полностью изжит, его больше нет, поскольку нет больше шаманов. Шаманов, действительно, трудно было найти, выявить. А теперь оказывается, что явление осталось, но только в трансформированном виде. Мое глубокое убеждение состоит в том, что в идеологии и обряде шаманизма огромную роль играет личное творчество шамана, и это не новация, так было всегда.

К поездке в поле необходимо серьезно готовиться: изучить литературу о народе и наметить программу исследования. Без программы тычешься на месте как слепой кутенок, не знаешь, что делать и о чем спрашивать. В этом плане в аспирантуре у нас была хорошая подготовка. Составлялись и даже публиковались программы. В отделе Севера в институте тоже это всегда было. При Долгих никто из нас не уезжал без программы. Сейчас такого правила, к сожалению, нет.

Этим правилом, кстати, как одним из основных, руководствовалась полевая комиссия, которая была создана в институте в нач.70-х гг., и которую я первая возглавляла. Комиссия была создана по предложению Л.Н.Терентьевой, которая тогда была зам. директора института. Полевая комиссия должна была контролировать полевые исследования на предмет составления программ и отчетов. Я возглавляла ее 5 лет и навела за это время много строгостей. До практики открытых листов, как

у археологов, дело не дошло. Я была не в том праве, чтобы выдавать открытые листы, а у Л.Н.Терентьевой не было для этого времени.

Е.М.: Перечень вопросов этики полевого исследования обширен. Эти проблемы, на мой взгляд, являются не только надстроечной частью работы этнографа, достойной обсуждения лишь в кулуарах академического сообщества. От отношения к ним и их разрешения зависит результат работы, и они задают определенные законы жанра научного труда. Расскажите, пожалуйста, о Вашем опыте исследовательского и человеческого контакта с людьми, с которыми Вы работали в поле – информаторами.

З.П.: Работа в поле требует от исследователя большого уважения к народу, который он изучает, такта и деликатности.

Сама по себе я человек застенчивый и необщительный. Это сейчас незаметно, так как меня в значительной мере переделала общественная работа и многолетняя практика чтения лекций по линии общества “Знание”.

Каждый раз в поле в начале разговора с новым информатором я внутренне сжималась от смущения, потому что представляла себя на его месте: пришел ко мне чужой человек, задает бытовые вопросы, лезет в мои сундуки и шкафы, копается в моих вещах! Поэтому я старалась провести подготовительную работу.

Во-первых, я всегда старалась рассказать о себе. В любом поселке перед вечерним киносеансом в клубе я рассказывала, кто я и зачем приехала.

Я находила себе помощников. Это было связано с тем, что я не знала ни хантыйского, ни мансийского языка. Так сложилось потому, что, во-первых, я была археологом по своей университетской подготовке, во-вторых, в аспирантуре я училась в Москве, а не в Ленинграде, где была возможность изучать языки народов Севера, и, в-третьих, что немаловажно, в ту пору уже все на местах, кроме стариков, говорили по-русски. Помощников я подбирала из старшеклассников местной школы, чаще всего это были девочки. С людьми, которые в культуре “свой”, всегда легче войти в любой дом.

С помощью этих переводчиков, а также работников сельсоветов, я намечала себе информаторов из тех, кто еще что-

то помнит, знает, умеет, например, шить или играть на традиционных музыкальных инструментах.

В наше время бывали случаи, когда информаторам за их работу платили. Если выражаться по “русско-нганасански”, делали пособие. Такие пособия делали и Ю.Б. Симченко и В.И. Васильев. Я не платила, но всегда везла с собой подарки: бисер, иголки, наперстки, головные платки, цветное сукно. Я больше работала с женщинами, хотя были, конечно, интересные информаторы-мужчины. В частности, в Вежакорах и Полновате я работала с людьми – Костиным и Ярким, которые были еще информаторами В.Н.Чернецова в 1930-40-е гг. Они хорошо меня встречали, поскольку В.Н.Чернецов был прекрасным человеком и оставил по себе очень добрую память. Работала я и с П.Е.Шешкиным – мансийским собирателем старины и скульптором, жившим на р. Ляпин в Ламбовоже. Но все же с женщинами мне всегда было легче объясниться.

Влюб я никогда никаких вопросов не задавала. Всегда начинала с разглядывания предметов материальной культуры – одежды, инструментов – и выяснения их происхождения. После того, как знакомство закрепилось, на второй или третий день начинала спрашивать о том, что меня непосредственно интересовало.

Никогда не работала с диктофоном, всегда записывала от руки и далеко не всегда в присутствии информаторов.

Мой дневник, наверное, не интересно публиковать, он существует в виде коротких записей: куда, когда и зачем приехали. Остальное я записывала в форме отрывочных материалов, нередко на отдельных листках по темам, чтобы потом легче было ими оперировать при их осмыслении. Хотя у меня есть мысль опубликовать свои материалы в форме научного путешествия, поскольку многие из них не нашли своей публикации.

Очень важно иллюстрировать свою работу – фотографировать, рисовать, делать магнитофонные записи, съемки видеокамерой. Эти материалы бесценны. Но в 1950-х гг. такие методы сбора материалов можно было применять не везде.

В первые годы, когда я только начинала ездить, люди категорически отказывались фотографироваться. Это считалось

греховным и опасным – “душу заберет!”. Позднее же, наоборот, сами просили сфотографировать их и прислать фотографии.

Е.М.: В ХМАО многие люди с некоторой обидой говорили мне: сейчас укоренилось мнение, что северные аборигены поголовно страдают алкоголизмом, но ведь не мешает вспомнить и о том, что именно русские часто провоцировали в северянах эту пагубную страсть, и даже этнографы использовали водку для того, чтобы облегчить контакт с информатором. Многие исследователи, напротив, это отрицают. Каково Ваше мнение на этот счет?

З.П.: Водку наши североведы – мужчины – конечно, использовали для развязывания языка информаторам, тем более, что многие из наших исследователей и сами это дело любили.

Я никогда не возила водку. Однажды, в 1965 г., Вежакорах Костин – хранитель священного места – отвез меня и моих спутников на два священных места, куда женщин не пускали. Перед поездкой туда мы, конечно, купили “чекушку”, но это был особый случай – водка предназначалась духу, хозяину священного места. Нас было четверо или пятеро, и на каждого пришлось по символическому глотку. Второй – и последний случай – произошел в 1971 г. на Сыне, в поселке Вытвозжорт. Со мной в экспедиции были муж (в качестве моториста группы) и сын. Вечером мы пошли в гости к одной хантыйской семье и захватили с собой немного водки – отметить знакомство.

Я вообще долго не пила водку, только вино и то по праздникам. Значение водки на севере я оценила однажды, наверное, в 1963 г., когда ехала по р. Сыне в поселок Овгорт на открытой почтовой лодке вместе с супругами Смольниковыми, моими знакомыми по поездке 1962 г. Шел дождь и было холодно. Мы продрогли до костей. И тогда они достали заветную “чекушку”, которую мы распили “на троих” и лишь после этого согрелись!

По моему опыту, при контакте с информатором большую роль играют имеющиеся у тебя на руках иллюстрации или фотографии и твои работы, книги. К счастью, мои научно-популярные книжки дошли до моих народов и пользовались их вниманием. В конце 80-х мы были вместе с Ниной Месштыб в Нижневартовском районе, и в одном из домов молодой человек у

нас поинтересовался: “А вы не знаете такую Соколову? Я читал ее книжку “Путешествие в Югру”.

Ханты и манси, читавшие мои книги "Страна Югория", "Путешествие в Югру", всегда были для меня открытыми собеседниками, хотя им, как, впрочем, и другим народам Сибири, в целом, свойственна закрытость. Многие неохотно общаются с европейцами.

На Казыме я была в 1956 и 1969 г. К 1969 г. наши переводчики – молодые ребята, с которыми мы работали в первую поездку – были уже женаты. Я познакомилась с их женами. Одна из них мне много помогала в работе. Другая была уникальной мастерицей. У нее была такая шуба, отделанная сукном и бисером, равную которой я больше нигде не видела. К сожалению, эта женщина рано ушла из жизни, и вместе с ней в могилу положили ее вещи, в том числе и шубу.

В сер.1960-х на Казыме, разбазарили один культовый амбарчик, посвященный Вут-ими. Там было совершенно уникальное изображение “Серебряной женщины” с лицом из серебряных пластин. Такое изображение духа больше нигде не встречено, только из литературы известны похожие описания. При Вут-ими были обычные изображения духов и много прикладов: ткань, одежда, несколько мешков с деньгами. По постановлению колхозного собрания – всем понятно теперь, что это были за собрания и как они проходили – амбарчик решили ликвидировать. Вещи, к сожалению, попали в три разных музея: часть – в Ханты-Мансийский, часть – в Тюменский, часть – в Березовский.

Я увидела изображение Вут-ими в музее в Ханты-Мансийске. При нем не было никакого описания или пояснения. Со мной тогда работал художник, который мне зарисовал это изображение.

В 1969 г. я взяла эти иллюстрации с собой на Казым. Приехала в семью одного из наших бывших переводчиков 1956 г., который жил со своей женой – Зоей Лозямовой – у родителей жены. Стала расспрашивать об изображении, описывать его, но никто ничего не мог сказать, не знал и не помнил. Тогда я достала картинку и показала: глаза у родителей Зои мгновенно заблестели и мне начали петь песню про эту самую Вут-ими.

Три раза я ездила в один поселок на Сыне. То, о чем я хочу рассказать, произошло уже во время второй или третьей поездки. Я занималась тогда погребальным обрядом. В том месте есть два кладбища – старое и новое. Я записала интересные обряды и сделала описание самого кладбища. Спустя 5-6 лет, в 1968 г., вышел номер “Советской этнографии” с моей статьей. В то время на обложке каждого номера журнала печатали фотографии из полевых материалов авторов. На обложке этого номера была фотография молодой хантыйки из того самого поселка Овгорт, которая помогала мне в качестве переводчицы. Этот журнал я взяла с собой в следующую поездку.

Надо сказать, что я никогда в своих экспедициях не миновала официальных органов власти. Я много занималась современностью, поэтому после возвращения из поля я, как и все остальные наши исследователи, всегда заходила в райисполком, а если ехала через Ханты-Мансийск, то и в окрисполком. Мы ставили органы власти в известность о тех недостатках управления, с которыми столкнулись на местах.

С председателем сельсовета поселка, фельдшером по образованию, у меня сложились очень хорошие отношения. Я пришла к нему с номером журнала. Председатель был человеком, уже достаточно далеко отошедшим от традиционного образа жизни и обычаев. Я показала ему журнал, и его вдруг “прорвало”! Он начал много рассказывать об одном месте, недалеко от кладбища, на котором я бывала раньше. Он говорил о том, о чем я и не подозревала, и сам пояснял мне, что об этом мало, кто знает. Об этом уникальном месте знали только те люди, чьи родственники утонули или погибли насильственной смертью и которых либо там похоронили, либо там есть амбарчик с изображением этого умершего. Он сам вышел на это место случайно, когда возвращался с охоты. Хотя оно и расположено рядом с кладбищем, вход у него отдельный. Председатель сводил нас туда, и мы изучали это место, *ура*, уникальное для культуры и тогда и, тем более, сейчас и не встречавшееся больше нигде во всей Тюменской области.

Е.М.: Не секрет, что у многих именитых этнографов были, если можно так выразиться, информаторы-любимцы (в западной науке существует даже понятие “привилегированного” информатора), с которыми

исследователи работали много лет. Такие люди были знатоками своей культуры, редкими рассказчиками и служили своеобразными проводниками этнографа в изучаемую культуру. Зачастую они служили не только источником информации, но и предоставляли свои интерпретации тех или иных культурных явлений, что помимо интереса вызывало еще и проблемы достоверности информации, повторной интерпретации ее, а в теоретическом плане - культурного творчества и культурных изменений. Расскажите, пожалуйста, о Ваших контактах такого рода и о Вашем отношении к этим проблемам.

З.П.: Мне встречались и талантливые информаторы, обладавшие любознательностью и даром рассказчика, которых и спрашивать-то ни о чем не надо было, а только направлять, и такие, из кого информацию приходилось тянуть клещами. Это видно после десяти минут общения с человеком.

Я считаю, что опрос нескольких информаторов необходим для того, чтобы проверить информацию. Петр Ефимович Шешкин имел образование не более 3-4-х классов, но был очень любознателен и выписывал много литературы. Он говорил, что в роду Шешкиных не было шаманов, но, видимо, сам он принадлежал, как и его предки, к типу хранителей святых мест. На святое место в Ламбовоже, которое описали И.Н. Гемуев и А.М. Сагалаев, он меня так и не сводил, потому что для женщин доступ туда был закрыт, хотя у нас с ним были вполне доверительные отношения. П.Е. Шешкина мне приходилось контролировать, потому что некоторые вещи он мог домыслить за счет прочитанной литературы. У меня опубликована статья о фратриях у обских угров по его материалам, но я и сейчас не уверена на 100% в этих материалах. Подтверждение им я еще не нашла.

Важно вовремя остановиться в задавании вопросов, чтобы не заставлять человека домысливать то, чего он не знает.

Вторичные объяснения обрядов сейчас очень распространены. В таких случаях, я считаю, информатора обязательно нужно корректировать. В этом отношении мне также очень повезло с учителями. Они умели видеть за горой фактов тенденцию развития того или иного культурного явления.

У многих сейчас такого умения нет. Я сталкивалась с этим, например, по поводу трактовки тотемизма. Говорят, что его

нет у ряда народов Сибири, не отмечен он ни в 19, ни в 20 в., значит, его и не было. Я должна более детально проанализировать культуру народов, чтобы установить, нет ли следов того же тотемизма, которые просто исчезли. Универсальность развития народов отрицать все же нельзя.

Возьмем, например, русский обычай крошить хлеб на могиле. Как Вам сейчас его объяснят? Для птиц, скажут, а ведь это, как ни поверни, кормление души.

Встречались мне русские или коми-информаторы, живущие среди угров, которые в ней давно живут и много знают, но многие вещи объясняют по-своему.

Хорошо жить в доме людей, знающих свою культуру, потому что, когда живешь длительный срок, наблюдаешь то, о чем порой не догадываешься спросить. В таких случаях важно знание языка.

Я совершенно не согласна с промелькнувшим недавно на страницах этнографического обозрения мнением о том, что язык в современных условиях знать не обязательно. Я всегда остро чувствовала ограничения в своей работе, связанные с незнанием языка. Могу привести такой пример.

В одном из поселков мы шли по улице с двумя девочками, которые помогали мне в работе. Встретили женщину, с которой мои спутницы заговорили по-хантыйски. Поговорили и разошлись, а одна из девочек мне говорит:

- Зоя Петровна, Вы знаете, кто это?

- Кто?

- Это моя тетка. А Вы знаете, как она меня назвала? "Вот идет моя мать".

Оказалось, что с этой девочкой, когда она родилась, проводили обряд по выяснению того, чья душа в нее вселилась. Выяснилось, что в нее вселилась душа бабушки - матери отца и этой женщины, ее тетки. Имя дали современное, но термин родства употребляется вполне определенный, соответствующий обряду: она для своей тетки не племянница, а мать! Могла я догадаться спросить об этом? Никогда.

Сейчас в ХМАО тяжело работать, потому что туда ездят очень многие исследователи. Во многие поселки просто уже нельзя ехать - так много побывало в них исследователей. И это отражается на информаторах.

Е.М.: Присутствие исследователя в аборигенном сообществе порождает особую ситуацию научного эксперимента: ученый понуждает информаторов взглянуть на собственную культуру со стороны, на какое-то время ощутить ее не просто жизненной средой, объектом рассуждения, рефлексии. Каковы, на Ваш взгляд особенности такого научного эксперимента?

З.П.: Разумеется, в нашей работе наблюдается определенное сходство с естественнонаучным экспериментом, но мы работаем с людьми, и этим все сказано. Для нас на первый план выступают этические вопросы.

В моей практике было много интересных и запоминающихся моментов, два из которых я сейчас могу привести.

В 1956 г. мы ездили с сотрудниками Ханты-Мансийского музея на лодке вверх и вниз по Казыму. Нас было 5 человек. С нами были еще два молодых человека – ханты, учащихся ПТУ, которые работали у нас переводчиками и проводниками. В том году было обилие грибов в лесу. На одной из стоянок мы набрали грибов и, купив в колхозе сметану, потушили себе на ужин. Как известно, ханты грибов не едят, но мы стали агитировать молодых людей присоединиться к нашему ужину и, наконец, уговорили. Они поели вместе с нами, но через пятнадцать минут побежали в лес – их желудки не приняли новую для них пищу. Это был очень простой, но наглядный пример органического неприятия чужой культуры.

В 1957 г. я ездила по Ваху с одним охотником. На экспедиционные деньги мы купили “мотор” и отправились в самые верховья Ваха. Затем поплыли по притоку вместе с кинопередвижкой. Там, на маленькой речке, три семьи ставили забор. Речка была очень извилистая, и мы остановились в излучине, откуда пешком пошли к чумам. Был вечер, заходило солнце, но его лучи еще золотили листву. Мы шли по тропинке. Кругом все зеленело и блестела тихая река. И тут я увидела три берестяных чума, словно покрытых позолотой в лучах заходящего солнца. Бегали собаки, вился дымок... Совершенно первобытная картина, которая просто потрясла мое воображение. Я даже описала этот случай в своей “Стране Югории”. Именно

тогда, мне кажется, я прониклась духом уникальности, самобытности и большой древности культуры хантов и манси.

Я пришла постепенно к выводу, что главное для этнографа, все-таки проникнуться спецификой культуры, бытом людей, их нравами: как они ходят, как едят, что делают, как отдыхают и т.д.

Е.М.: В советской этнографии существовало довольно четкое разграничение истории культуры народов и проблем их современного бытия. Вы много занимались и тем и другим. Отдавали ли Вы предпочтение тому или другому направлению?

З.П. Разумеется, в своей работе я больше была ориентирована на изучение истории народа. Я начинала работать в институте, когда в нем преобладало этногенетическое направление.

Современностью я занималась много, но чисто в прикладном аспекте. Мы все тогда изучали проблемы оседания, создания новых поселков, алкоголизма, безработицы.

Специфика Отдела Севера всегда была связана с тем, что он находился в постоянном контакте с Отделом по социально-экономическому развитию малых народов Севера при Совете Министров РСФСР. Каждый год, после каждой поездки мы подавали докладные записки о прикладных проблемах, которые и теперь хранятся в нашем сейфе и архиве. Наши сигналы не всегда, к сожалению, воспринимались властями. До сих пор обсуждаются те проблемы, о которых мы писали в 1950-60-е гг., в частности, по алкоголизму на Севере, процессам оседания населения. И почти ничего не сделано. Наша наука, очевидно, не нужна правительству и мы не нужны. Но я считаю, что прикладными проблемами необходимо заниматься, хотя бы для собственного удовлетворения, для чувства, что ты что-то сделал для изучаемого народа. Хотя в 1950-70-х гг. мы кое-чего все же добивались...

Что касается ссылок на информаторов в своих печатных работах, то я могу сказать, что мы были поставлены в такие жесткие рамки и условия в своих публикациях, что не могли этого делать. В нашей старой литературе вы не найдете даже перечня информаторов. Когда же речь шла о религии, культах, шаманстве, упоминать информаторов вообще было опасно, ведь еще в 1950-х гг. шаманов арестовывали. Между прочим, даже в

книге "Страна Югория" все имена и фамилии мною были изменены по совету Ю.Б. Симченко и в связи именно с этими соображениями. Выработался определенный стиль повествования, когда этнограф в лучшем случае указывал место сбора информации.

Е.М.: В западной науке в свое время остро обсуждалась проблема политической ангажированности этнографа-исследователя, поднимались вопросы, должен ли этнограф выступать в качестве защитника изучаемого народа или работать на правительство. В России всегда существовали особые традиции и нормы гражданственности. Какова Ваша позиция на этот счет: должны ли быть нераздельны гражданская и исследовательская позиция ученого?

З.П.: Я глубоко уверена, что этнограф обязан брать на себя функцию правозащитника изучаемого народа, особенно сейчас, да и 40 лет назад тоже. Иначе просто нет оправдания нашим исследованиям и грош им цена. Только проникаясь жизнью и проблемами народа, мы можем его понять.

Тема "вымирания" в наших работах превратилась в стилистическую фигуру. Речь шла не о физическом вымирании, а об ассимиляции народа. Я всегда утверждаю, что ханты и манси не вымрут, но перед ними всегда стоит опасность ассимиляции.

(Интервью записала и подготовила к печати Е.Миськова)